

ПРЕДАТЕЛЬ ЛЮБВИ

Рассказы

ПОСЛЕ ПЯТНИЦЫ ЧЕТВЕРГ

По весне, когда над старым двором пролились первые дожди, сошел снег с дальних сопок, от реки потянуло смолой и соляжкой, воздух странно — как прежде — посинел и загустел от детских криков, шелеста шин по лужам, цоканья каблучков, велосипедных звонков, кошачьих концертов, смеха, обрывков фраз, кое-как слеplенных голубиным пометом, — по главной улице прошествовала настоящая лошадь, громыхая телегой с пустыми бидонами и оставляя стынувшие на асфальте яблоки навоза. Как и прежде, за телегой с лаем и визгом бежали собаки и мальчишки, норовя пнуть эти самые яблоки и пристроиться возле бидонов, а возница в телогрейке сердился и взмахивал вожжами...

Уборщица застала у окна врасплох: я обернулся на грохот швабры о ведро и с ужасом понял, что рабочий день кончился, пора домой.

Дверь долго не открывали — я надавил кнопку снова. Наконец за дверью завопили и притихли: меня изучали в глазок. Я отошел, так, чтобы были видны коробка с тортом и яркий пакет, в котором без труда угадывалась бутылка вина. К вопросу «кто?», да еще баском, я не был готов. Не говорить же, в самом деле, что Робинзон пожаловал к Пятнице. Я зачем-то приподнял коробку с тортом, глупо улыбаясь и лихорадочно вспоминая отчество хозяйки.

«Ма, там тебя, кажется», — сообщил за дверью сынок.

В глубине квартиры коротко спросили, тот же ломкий басок ответил, что «хахаль, кажется». Паршивец! Неужели у Оли-Пятницы такой большой сын? Она говорила о нем, но вскользь, с неохотой. По легким шажкам и наступившей паузе я догадался, что теперь к глазку припала хозяйка. Я поклонился.

— Хорош, — оценивающе пощурилась в проем Оля, лягнув дверной цепочкой. — Ну, проходи, коли пришел... Только, чур, недолго.

Прическа у Оли сбилась, челка растрепалась, отчего личико еще больше округлилось, руки по локоть были мокрые и красные, косметики ноль, старое трико и шлепанцы на босу ногу. Но глядела королевой, не без вызова: видал?! Ну и плевать, мол, трудовые будни — праздники для нас. Вообще-то надо было уходить. Но как раз сегодня я не желал быть «хахалем». Я снял плащ, повесил на знакомый крючок, прошел с гостинцами на кухню и уселся на табурет — нога на ногу. Под столом по своим делам пробежал озабоченный таракан. Возле плиты линолеум вытерся — невозможно было разобрать рисунок. Из комнаты донеслись взрывы рок-музыки.

— Четверг же, — словно читая мои мысли, тихо сказала Оля. — Ты что, совсем уработался там?

Она прыснула в ладошку, и я осознал, что именно меня в ней тянет. Женское в Оли-Пятнице вполне мирно уживалось с девчоночьим, острые ключицы с округлостью прочего, прысканье в ладошку — с продуманным флиртом. Она и грешила-то как-то несерьезно: то пугая, то играя...

— Чтоб четверг не отверг, — я извлек из пакета бутылку болгарского сухого и поставил на стол. Он был уставлен грязными тарелками. Пахло жареной рыбой. Кран капал и подтекал, вокруг него уже образовался ржавый кружок. К мусорному ведру прислонилась пустая бутылка болгарского сухого — с прошлой пятницы. Слабеющее солнце било вкось, высвечивая на стекле толстый слой пыли и отвалившуюся замазку.

— Борька, сволота, посуду не помыл, а! — хозяйка решительно прошлепала в комнату сына.

Музыка смолкла. В коридоре возникла раскрасневшаяся Оля, вслед ей что-то базили.

— Поговори мне, еще получишь! — огрызнулась на ходу Оля.

Она была прекрасна, как физкультурница. Дать ей весло, она бы разнесла городской парк культуры и отдыха к такой-то бабушке.

— Нет, ты подумай, ему слово, он тебе десять! Свинья, троечник несчастный! Погоди, я тебе устрою лагерь Саласпилс! — размышляя вслух, Олечка ворвалась на кухню, с удивлением обнаружив меня на табурете.

— А давай посуду помою, — привстал я.

— Сиди уж, — задыхнулась от моей наглости хозяйка. — Тебе чего здесь, распивочная, да? По четвергам, да? Вот что, мужчина. Забирайте бутылку, кофе закрылось. Здесь граждане живут, дети. По четвергам рыбный день! Ну? Кому сказано? Освободите помещение, понятно! — не на шутку разошлась хозяйка. Впрочем, я и себя-то с трудом узнавал, что уж тут говорить об Оле-Пятнице.

По пятницам сын уезжал к родителям Оли, на другой конец города, на левый берег, сразу после школы, а я с дежурным тортом и бутылкой сухого вина подтягивался сразу после работы. Продолжалось это где-то с полгода, с того дождливого осеннего вечера, который застал меня в кафе-стекляшке. Оля и за стойкой прыскала в ладошку и округляла глаза в ответ на остроты посетителей. Были еще припухлые губки, короткий носик, челка, что-то знакомое. Я проводил ее домой и, припертая к стенке на лестничной клетке, она выдохнула пароль: пятница.

Сценарий пятницы был утвержден с первого вечера: много сладкого. Оля делала крашенные губки трубочкой, чуть растягивая слова. Чайные ложечки звенели о фужеры. На маленькой кухне я задышался от французских духов — той гадости, которую день и ночь рекламируют по телевизору, — но терпеливо ждал десерта, который следовал после короткого антракта в раздельном санузле. В общем, ничего страшного, местами приятно, а сокрушительную пустоту по окончании можно было списать на пять рабочих дней.

В комнате опять завели музыку — громче прежнего. Оля ринулась по коридору, теряя шлепанец: «Нет, я кому сказала, а!» Музыка оборвалась, будто рок-певцу заехали в лицо кремовым тортом. Ну и черт с ним, с десертом. Я вышел в прихожую и натянул плащ.

— И торт забирайте, здесь вам не кино, — мгновенно возникла рядом Оля.

Что ж, это действительно было кино, причем последний сеанс. Я так и сказал Оле: пусть торт останется на память. Оля выразилась в том смысле, что скатертью дорожка, катись колбаской, старпер (старпер — это старый пердун, любезно пояснил сынок), у нее таких навалом, помоложе и неженатых, только моргни. Я пожелал счастья в личной жизни и шагнул к двери.

— Погоди-ка, — Оля наморщила лобик. — А ты зачем приходил-то? — она включила в прихожей свет.

Вид у нее был, как у ребенка, которому выпал нелегкий выбор между пирожным и мороженым. Она прищурилась, под глазами обозначились тени. Моющиеся обои в прихожей давно не мыли. На тумбочке перед зеркалом лежал пустой тюбик из-под помады.

— Вот... — хмыкнула, перехватив взгляд, Оля. — Хотела окна помыть. И Борька дома... Все равно ничего бы не получилось, правда? — она помолчала и подошла ближе. — Ты же знал, что Борька дома. Знал, правда?

Я увидел морщинки у рта и глаз — Оля слишком много хихикала, а ведь не девочка уже, давно не девочка. Мне стало ее жаль. Я сказал, что совсем заработался, много заказов, голова кругом, и, возможно, перепутал конец недели с концом света.

Оля прыснула в ладошку: «Ой, умора! Я так сразу и подумала!» И уже понизив голос, заговорщически: «А торт я спрячу, от Борьки, да завтраго не прокиснет, небось...» И она, чмокнув в ухо, подтолкнула к двери.

Во дворе в детской песочнице под неодобрительными взглядами старушек со скамеечки я прикончил болгарское сухое в два захода — сперва хотел вернуться и оставить бутылку до пятницы, но передумал. Четверг — день генеральной уборки, когда после долгой зимы перетряхивают вещи, моют окна, а сор выметают из избы. Причем навсегда.

В пивнушке у вокзала мы для разгона взяли три «Жигулевского» и по полтораста на брата. Потом хотели повторить, но тот, лысый, маленький, в рваном китайском пуховике, сказал, что если взять водку у бабок на углу, то выйдет значительно дешевле. Мне было все равно. Главное, что новоиспеченные друзья очень хорошо слушали про самую настоящую лошадь, которую я видел на улице своими глазами... Самую настоящую лошадь — не поверите!

Очнулся за полночь на раскладушке — это означало, что состоялось выяснение отношений, и я, таким образом, отлучен от семейного очага. Я попил воды из-под крана и припомнил, что теперь мне и пятницы мало, кот мартовский, что я кругом неудачник, в этом месте по обычаю возвели на пьедестал мужа сестры, его правый руль без пробега по СНГ, и нечего морочить голову про какую-то кобылу... Вместо ответа включил телевизор погромче — на жену это не произвело впечатления, а вот на соседей — да, произвело, в стенку застучали.

Эти удары отдались в затылке — он раскалывался. Я набросил плащ и вышел из дома с мусорным ведром наперевес. Шел дождь, мелкий, невесомый; я скорее увидел его, чем ощутил, в свете фонаря. Было свежо и ветрено, небо с редкими звездами, в выбоинах асфальта блестели лужицы. Дом наш, стандартная коробка в новом микрорайоне города, стоял в окружении чахлах тополей и таких же жилых коробок. Дальше начиналась степь или то, что было степью, которую загадили стихийными свалками. Но если ветер дует со стороны сопки, что за рекой, то дышать можно. Я и дышал, подставив лицо

теплому дождю. Я добрел до мусорных контейнеров — удары ведра о край железного бака разнеслись в ночи набатом, — на седьмом этаже вспыхнуло и погасло окошко; я вздрогнул от догадки и уже быстрым шагом, чуть ли не бегом — к родному подъезду, не попадая в ступеньки, взлетел на четвертый этаж, не сразу, чертыхаясь, открыл дверь. Унимая дыхание, посмотрелся в зеркало — дождь смыл с меня лет пять, не меньше, в волосах запуталась водяная пыль, они потемнели. Я причесался, помыл руки, почистил зубы, хотел побриться, но решил, что сойдет и так. Я почему-то торопился. Оделся потеплее — пиджак под плащ, кепку, полушерстяные носки. Вспомнив, порезал на кухне полбуханки хлеба и рассовал по карманам. Жена спала на правом боку, берегла сердце, так советовал врач; лицо ее — страдальческое в дни моих отлучек и в минуты любви, — разгладилось, застыло в ожидании. Мне стало грустно. Ведь ожидание — привилегия юности. Я вспомнил ее девушкой, спокойной деревенской девушкой со смуглой шелковистой кожей и робкой грудью, с прохладными скулами, в модном открытом платье, одолженном для свидания, она слегка стеснялась большого выреза на груди, но и сознавала — то, что надо; я замечал это по тому, как она кончиками пальцев проводила по узким бретелькам и перламутровым пуговицам. Я постоял над ней в мокром плаще, свет торшера ее не разбудил, не встревожил, и вправду, она сильно уставала, жить с непутевым мужем, знаете ли... Я поправил одеяло, отводя взгляд от лица, взял со столика деньги, какие случились, конверт с письмом сына, погасил торшер и вышел. Дверь тоненько скрипнула, будто заплакал ребенок.

Дождь усилился — свет от фонаря стал мягким и желтым. В луже играла бликами мелкая рябь; разбрасывая тени, качались тонкие ветки тополей. Холодная струйка потекла за ухо, я поднял воротник и зашагал, руки в карманах, в сторону реки. Ветер по-свойски подталкивал в спину. На бровях то и дело нависали капли, я утирал их рукавом, не сбавляя шага. Цель была смутная, размытая, как вечер и дождь, берущие начало неизвестно откуда, как эта ночь, в которой не было звезд и неба, — и все же цель, ибо в темноте шел я достаточно уверенно. Иногда я останавливался и оглядывался назад — дом угадывался в пелене, темной глыбой на сизом полотне. Мигающий свет фонаря съежился до размеров далекой звезды. Там, на той звезде остались немые моющиеся обои, кремовый торт, выпотрошенное помойное ведро и подлость на десерт; там, в той галактике сгнули кривые ухмылки, езда в переполненном автобусе и скользкий график вранья... Чем сильнее бил в спину ветер, тем яростнее, штопором, ввинчивались во мглу злые мои мысли, тем отчетливее проступали в ней контуры моего ухода, неожиданного и, должно быть, смешного. Асфальт кончился, началась степь с короткой и скользкой травой и кучками металлолома, раз я запнулся, упал и тотчас встал: свет далекой звезды погас. Ветер изменил направление. Уворачиваясь от него, я шагнул вбок, и, не успев испугаться, покотился вниз.

Стена была гладкой и пологой. Я приподнялся и рухнул. Левое колено вывернула боль. Кричал я, наверное, долго, уже не ощущая дождя, только холод, липкий холод. Липкий холодный пот тела Господня, пролившийся на меня в ночи. Я сидел в луже и отплевывался от дождя — и глупое же занятие! Боль в колене, замороженная, утихла. Непослушными пальцами я нашупал в кармане хлеб. Это прибавило сил — я закричал.

...Кто-то задумал гараж в трех уровнях. Тронутые желтизной стены, лопата, лом, носилки в углу — и как я их не нашарил? За шиворот просыпался песок, под ногами в луже заиграла рябь; там же преломилась и задрожала фигурка человека. Я задрал голову, моргая, — уже рассвело, небо посерело. Темная кромка была оторочена пучками травы. На краю стоял некто, серое пятно вместо лица, из-под рифленых подошв вылетел клочок дерна и царапнул ухо. До меня долетел окрик. «Живой?» — повторил хозяин будущего гаража. «Живой, живой», — хотел крикнуть, но вышел шепот.

Когда-то на месте строящихся гаражей была городская конюшня, куда для общественных нужд списывали с ипподрома отбегавших свое лошадей. Будучи сопляком, я вовремя сунул коняге горбушку хлеба и свел выгодное знакомство со старым возницей, что резко подняло мой авторитет во дворе. Дело в том, что в те времена гужевым транспортом доставляли молоко в магазины, им же вывозили пустые бидоны, а потому два раза на дню путь коняги пролегал по главной улице города. И не было большего шика, чем проехаться рядом с возницей на зависть окрестной шпане. А старик был строг, курил махорку и, блюдя санитарные нормы, к бидонам не подпускал, взмахивая для острастки вожжами.

Я ее раньше не видел, и, наверное, поэтому упрямил возницу прокатить нас до угла. Челка, чуть вздернутый носик и глаза, округлившиеся при виде живой лошади. Она сидела рядом, и всю дорогу мы держались за руки — в дружеском тимуровском пожатии. Не знаю, что уж она о себе возомнила, только однажды на перемене мне передали записку: «Давай дружить, только по-настоящему». И подпись: не то Люда, не то Люся. Я не успел запомнить, потому что записку вырвали, зачитали вслух и гнусаво спросили, когда состоится свидание. Вопрос потонул в хохоте. Я на ходу пристроился к нему и отважно прогнусавил: после дождика в четверг!

Она ждала на углу и в четверг, и в пятницу, под дождем, дурочка. Неделю болела от простуды, не ходила в школу, а вскоре уехала из этого города навсегда — отец у нее был военным и получил новое назначение. Куда-то на юг, говорили, очень далеко.